



# Это было позавчера...

## *Предисловие*

Сегодня восьмидесятые годы прошлого столетия кажутся мне невероятно далекими. Как говорит моя маленькая внучка: «Это было так давно! Это было позавчера». Годы эти далеки не только во временном отношении, просто жили мы тогда в ином измерении, в совсем ином мире, и договариваясь о встрече, договаривались хорошенько: выйдя из дома, передоговориться или что-то уточнить было невозможно: мобильный телефон, это проклятье и благо цивилизации, еще не дирижировал кровообращением общества.

И это было прекрасно — для литературы! Любой поворот сюжета становился возможным, героя можно было безнаказанно трепать и таскать по разным задворкам нашей страны (о задворках мира большинство советских людей пока и не помышляло), — ведь герой просто не мог в течение двух минут сообщить кому следует, где и зачем он находится. Сюжет несся вперед на всех парах, любое недоразумение было на руку автору, и никакому въедливому читателю просто не пришло бы в голову спросить: «Почему же он (она) не погуглил эту тему и не разобрался?»

Когда я перечитываю свои старые вещи (крайне нелегкое для самолюбия автора занятие), я ностальгирую именно по этой простодушной свободе построения сюжета. И сама себе, тогдашня, кажусь очень молодой, самонадеянной, отважной...

В те годы стремительно менялось общество, и молодые писатели жадно следили за этими изменениями, отзываясь на них в своих текстах... Для меня эти годы тоже прошли под знаком коренных изменений: в личной жизни, в смене среды обитания — из Ташкента я переехала в Москву, — в полной смене профессионального окружения.

Наконец, у меня родилась дочь.

Рождение каждого нового ребенка означает для писателя возникновение целого мира новых тем и вопросов. Новых мыслей и новых ощущений.

Повесть «Двойная фамилия» была написана мною в небольшом скверике на улице Гончарова. Я писала в блокноте, примостив его на колене одной ноги, другой в это же время покачивая коляску с новорожденной дочерью. Написалась эта вещь залпом, как бывает, когда есть незаурядная история, подаренная самой жизнью, и нет нужды обдумывать сюжетные линии. История близкого, очень близкого человека; потому и воображать душевное состояние героя тоже не было нужды — я чувствовала его очень остро... Монологи отца — а повесть построена на двух монологах, — писались практически набело. Труднее было с сыном, подростком... В то время у меня самой рос подросток-сын, и трудно рос: пространство дома давно превратилось в поле битвы, где каждый отвоевывал свое место, где один против всей семьи каждый день посягал на «передел власти», действуя так, как казалось ему справедливым. Приступая к монологам мальчика в повести, я старалась представить себе своего сына в предлагаемой ситуации, его реакцию, его чувства, слова, которые он бы произносил... Сама я болезненно вспоминаю свое взросление и очень редко оборачиваюсь на подростковые годы; у меня очень мало вещей, в которых действуют подростки, и все они написаны давным-давно, когда и я говорила этим ломким дерзким голосом, и не могла иначе смотреть на мир, как только из окошка растущей диковатой души.

Что-то было такое в этой повести, что редактор популярного журнала «Юность», прочитав рукопись, отвергла ее. Думаю, это говорит о качестве и количестве боли, заложенной в эту небольшую повесть, как динамит.

Гораздо позже по ней сняли фильм, и хотя герои там действуют и переживают во вневременных обстоятельствах, вся эта история навсегда осталась для меня пронзительной историей *моих восьмидесятых*.

\* \* \*

Мне всю жизнь везло на старух. Они возникали на моем пути, как обломки скалы, как столетние чинары, как судьбинные камни на развилках сказочных дорог. Это были великие старухи, чьи биографии, расцвеченные знаменитыми именами, питали мое воображение и требовали запечатления. Когда-нибудь напишу целое ожерелье рассказов про всех могучих старух, сформировавших — каждая в свое время — мои взгляды на жизнь, на женскую судьбу, на любовь, на мужчин, на творчество.

...Одна из них, скульптор Нина Ильинична Нисс-Гольдман, девяностолетняя подружка моего мужа Бориса Карафёлова, возникла в моей жизни с переездом в Москву в 1984 году. При первой встрече я подумала, что эта старуха никогда не станет «моей» — в ней не было ни капли приветливого сочувствия, ни малейшего стремления привязать человека к себе, поразить, произвести впечатление.

Обитала она в мастерской на Верхней Масловке, в известном доме конструктивистского стиля, где жили и работали многие художники и скульпторы.

Этот быт любому нормальному человеку мог показаться просто убогим: шербатый каменный пол, раскладушка, старая газовая плитка, древний холодильник, кривобокий круглый стол и калечное старое кресло, ну и несколько разномастных табуретов для гостей — подозреваю, подобранных на помойках.

Но высота потолков в студии — метров шесть, и все это огромное помещение заполнял странный, почти осязаемый вертикальный воздух, придававший обстановке мастерской высокий, даже эпический лад.

И биография у старухи была — дай бог каждому персонажу из серии «Жизнь замечательных людей». Какие имена витали в воздухе этой мастерской, вскользь брошенные ворчливым баском Нины Ильиничны, какие произносились названия и адреса!

Профессор легендарного ВХУТЕМАСа, коллега Фаворского и Бруни, приятельница Модильяни, Орловой, Цадкина, Пикассо и Сутина... — да целой плеяды знаменитых художников! — она за свою долгую творческую жизнь лепила и Брюсова, и Бабеля, и Солженицына...и, конечно же, непререкаемых советских вождей, бюсты которых, выстроенные на деревянных стеллажах, насмешливо и нежно именовала «кормильцами»...

Рассказывать любила: вставляла эпизоды как бы между прочим, и в общем разговоре эти, невзначай оброненные фразы вспыхивали тем или иным именем:

— ...Тогда уже всю бомбили Москву. И МОСХу в поезде для эвакуированных был отдан только один вагон. Давка, сами понимаете, страшная. У дверей вагона какой-то распорядитель орал как заведенный: «Только для членов МОСХа!» Раиса, бывшая жена Роберта Фалька, с маленьким сыном и со своей сестрой, одноногой Александрой Вениаминовной Азарх-Грановской, в этой давке совершенно потерялись. Они раньше не смогли эвакуироваться и сейчас видели, что дело безнадежно. Тогда провожавший их ученик Александры Вениаминовны подошел к Фаворскому и спросил:

— Владимир Андреевич, вы в Бога верите?

— Зачем вы спрашиваете? — отозвался тот. — Вы же сами знаете.

— Возьмете к себе в купе калек и женщину с ребенком?

— Конечно!

И всю дорогу до Самарканда — а она ведь на несколько месяцев растянулась, — Фаворский делил положенный на его семью продуктовый паек на всех пассажиров в купе... И ничего, все доехали!

Гости у нее не переводились. Толклись с утра до вечера — художники, молодые актеры, журналисты, какие-то невнятные вечные студенты. Гости сменяли один другого, сбивались в группки, спорили, обсуждали выставки, светские скандалы, последние новости искусства, кто-то поднимался в сотый раз ставить на огонь мятый чайник, кто-то высыпал на надбитую тарелку принесенные мятные или овсяные пряники:

— Нина Ильинична, вам соку налить или чаю?

— И то, и другое, пожалуйста.

Борис расставлял здесь же этюдник и писал с Нины Ильиничны очередной портрет. Та очень его ценила как художника, но неоднократно критически прохаживалась по поводу его худощавости: «Борис, вас же в профиль просто не существует!» Она любила мужчин корпулентных, да и сама была увесистой дамой: на мощных лапах старого скульптора закатаны рукава рубашки, внушительный нос выступает на морщинистом лице, и голос царит: внятный, безапелляционный, насмешливый.

Кажется, я сначала ей не понравилась. Она любила Бориса и была пристрастна к его выбору. И то сказать: разве такая жена нужна художнику? Писательница, ха! Художнику нужна беспрекословная преданность и истовое бытовое служение: ты и модель, ты и прачка-кухарка, ты и секретарша — если надо... Мне старуха тоже не очень приглянулась: оторопь брала от ее манеры припечатать двумя-тремя ядовитыми словами: человека, фильм, выставку, книгу...Какие-то ее высказывания вспоминаются мне, как афоризмы:

О дочери знаменитого художника:

«Говорят, на детях великих людей Бог отдыхает. Так на ней он всласть отдохнул, и даже хорошенько выпался».

10 О сыне известного артиста:

«Кабы не фамилия, он бы стоял на конвейере и коробки клепал, если не выпьет с утра».

О режиссере, художественном руководителе крупного московского театра:

«Ох, она интрига-анка! По сравнению с нею испанская Изабелла-католичка просто пионерка из Артека!»

Меня раздражали эти ядовитые перлы, иногда я просто уклонялась от посещения мастерской, пока... пока не обнаружила, что скучаю без хлестких замечаний Нины Ильиничны, без ее поразительно точных, метафоричных суждений об искусстве, без неожиданных и ярких воспоминаний: о ростовском детстве начала века, об отцовской водолечебнице — уникальной, чуть ли не первой в России, о годах учебы в Русской академии в Париже, о сгинувших в сталинском средневековье друзьях...

«Видите ли... Я как-то сразу поняла, что надо делать в случае, когда ты узнала, что знакомый тебе человек — стукач. Надо просто спускать их с лестницы! Я так и поступала, — это единственно правильный ход. А вот когда ты их боишься, заискиваешь, вещаешь патриотические лозунги — нет, это никогда не спасало. Наоборот — это и подозрительно. Гнать взашей — единственно точная реакция возмущенной невинности...»

В какой-то момент я поймала себя на том, что записываю за ней не только отдельные фразы, но и целые эпизоды разговора; что мне хочется запомнить и запечатлеть в словах бледно-серый, высокий воздух мастерской, эту странно ощутимую вертикаль времени, что проходит сквозь жизнь глубокой старухи, обогащая, одаряя лично меня, а также тех, кто приходит сюда — послушать совершенно независимого, внутренне свободного человека...

Между тем она угасала, почти не поднималась с раскладушки. Когда совсем ослабела, при ней по очереди дежурили друзья, в основном молодые художники, моложе ее

лет на семьдесят — люди, которым совсем скоро предназначено было вступить в другую жизнь совсем иной страны, а многим предстояла эмиграция. Время было мутное, тяжелое, безрадостное...

Нина Ильинична явно сдавала; физические силы ее покидали, но ее по-прежнему живой ум, цепкий взгляд и невозмутимая ирония, в том числе и по отношению к самой себе, поражали собеседника.

«Нина Ильинична, вы когда-нибудь в жизни делали зарядку?»

«Боже упаси!»

...Я приступила к написанию повести «На Верхней Масловке», уже понимая, что должна торопиться. И звонила ей, своей героине, ненароком наводя разговор на воспоминания детства и юности, на рассказы о друзьях... Она говорила и говорила, дыша уже прерывисто и тяжело. Угасала жизнь, будто — не могла я отвязаться от этой мучительной мысли — будто последние силы Н.И. отдавала интенсивной работе чужого писательского воображения.

Повесть «На Верхней Масловке» вышла в сборнике моей прозы в издательстве «Советский писатель» в 1990 году — в день, когда умерла Нина Ильинична.

Перед самым ее уходом кто-то из друзей-кинематографистов снял фильм — небольшой, минут на двадцать. До нас с Борисом этот фильм дошел уже в Иерусалиме — привезли московские друзья. Мы поставили диск, и... зашуршали звуки, кто-то прокашлялся знакомым хриплым кашлем... Камера поехала вдоль стен с развешанными картинами, с полками и антресолями, на которых расставлены гипсовые бюсты. И мы вдруг увидели тот самый, высокий бледно-серый воздух мастерской на Верхней Масловке...

Потом я никак не могла заставить себя еще раз прокрутить этот немудреный фильм. Но вспоминаю, вспоминаю: камера подолгу задерживается на лице и фигуре очень



12 старой женщины, молча сидящей на раскладушке с понурым, почти отсутствующим видом. Самое выразительное в кадре — руки; не лицо, а большие, разработанные всей жизнью скульптора кисти рук, безвольно лежащие на коленях. За спиной старухи двигаются люди, кто-то ставит на стол кастрюлю, исходящую паром, принимается разливать куриный бульон.

Голос за кадром: «Нина Ильинична, вам ножку или крылышко?»

И вдруг лицо оживляет усмешка, глаза смотрят прямо в камеру. Это прежние ее глаза: в них ирония, оценка ситуации и мгновенный отзыв:

«И то, и другое, пожалуйста», — твердо произносит старуха.

\* \* \*

Всегда как-то странно, а порой и неуютно перечитывать свои старые книги. Как будто написала все это не ты, а кто-то другой — удивительно знакомый человек, обстоятельства жизни которого, привычки и принципы тебе достаточно хорошо известны. Впрочем, с принципами куда как не просто — они меняются в течение всей жизни, и порой самым кардинальным образом. Хорошо, что у меня их нет вообще. То есть у меня, конечно, имеются самые расхожие, внедренные в меня в детстве моральные установки по поводу элементарной порядочности и приличного поведения индивидуума в человеческом обществе, но не более того. Твердые принципы предполагают такое же твердое намерение судить тех, кто их не разделяет, а я давно стараюсь не судить.

Так вот, о своих старых книгах...

Мне никогда не нравится то, что я написала давно, да и не столь давно; в сущности, мне перестает нравиться то, что я написала, недели через две после выхода книги. Таково устройство моего конкретного писательского организма.

И все же есть у меня несколько вещей, за которые я, что называется, спокойна. Просто знаю, что, как бы ни менялась жизнь и ее реалии, та правда чувств, что заложена в перипетиях их сюжетов, будет по-прежнему волновать читателя. Среди этих вещей — мой старый рассказ «Любка».

Ему много лет; в основной своей коллизии это — давние события в семье моей близкой подруги. Ее нянкой случайно оказалась молодая женщина, главарь банды, только что освободившаяся из лагеря. История, повторяю, давняя, особо точных деталей в семье никто и не помнил, так что пришлось все придумывать. Мне сказали только, что дело происходило в Бегавате — маленьком промышленном городке Средней Азии, настолько прочно забытом Богом, что я задумалась — давать ли это реальное название городку вымышленному. В Бегавате мне однажды пришлось побывать. При упоминании этого захолустья в моей памяти возникли беспокойные ветра, завихрения песка на голой земле, пронизывающий холод... Становилось зябко при одной лишь мысли о людях, которым волею судеб пришлось там жить. И вдруг вся история задвигалась, задышала и... в конце концов, сложилась. Тут еще подверсталось немаловажное обстоятельство: моя подруга, как и я, родилась в 1953 году, — время тяжелое, перелом эпох, знаменитое «дело врачей», смерть тирана... Частная история обросла деталями Истории страны и народа. Но и это не все, потому что и сам рассказ был написан на сломе эпох, когда трещала по швам Советская империя.

Он был опубликован в журнале «Огонек» — в тот самый период, когда все, что публиковалось в этом журнале, возглавляемом Виталием Коротичем, читалось миллионами читателей от корки до корки. Так что, рассказ «Любка», что называется, «прозвучал», и долго еще я получала письма читателей, память которых эта история всколыхнула.

14 По соседству с рассказом «Любка» под обложкой этого тома помещена давняя моя повесть «Завтра, как обычно». Между ними очень мало общего — кроме одного обстоятельства: сюжет и того и другого послужили для создания фильмов. Но фильм «Любка», снятый режиссером Станиславом Митиным по моему сценарию, создан талантливо и бережно, с сохранением не только родного названия рассказа, но и всех сцен и диалогов; а вот съемки ленты киностудии «Узбекфильм» по повести «Завтра, как обычно», переименованной в «Наш внук работает в милиции» и перелицованной, как пальто на ватине, вызвали у меня настолько сильные трагикомические эмоции, что послужили к написанию повести «Камера наезжает!» — где, создав целый ряд гротескных персонажей, я рассчиталась и с режиссером фильма, и с его редактором, и с актерами... а также со всей системой кинопроизводства в национальных республиках того времени.

С тех пор я довольно равнодушна к экранизации своих книг, хотя за прошедшие лет тридцать по моим повестям и романам сняты еще несколько фильмов. Очевидно, в творчестве я — закоренелая одиноличница, я бы даже сказала: «одинокий пишущий человек», не слишком почитающий коллективные виды искусства.

С тех пор, как я покинула Советский Союз, прошли годы и годы. Написанные в восьмидесятых мои вещи много раз переиздавались, экранизировались, переводились на множество языков. А мне так странно листать эти страницы, вычитывая старый текст, вглядываясь в лица и чувства позабытых героев. Я многого не узнаю. Да что там! — я себя не узнаю на этих страницах.

Ведь это было так давно!

Это было позавчера.

*Дина Рубина*

# НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ

РОМАН